



Е. Н. Ищенко

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО...



Философия переживает сейчас непростое время. Все чаще из уст самих философов звучат слова о конце философии, ее кризисе и закате. Подобного рода дискуссии, особенно обострившиеся к середине 90-х годов прошлого века, бесспорно, отразили те глобальные изменения, которые произошли (и до сих пор происходят) в рамках философского дискурса. Стоит сказать, что, прежде всего, само представление об этих рамках (границах) стало подвергаться радикальным, если не сказать революционным, изменениям. Внешним выражением этого процесса стала, во-первых, деформация/трансформация канонов философского текста. Так, подчас весьма сложно отличить его от нефилософского (публицистического, художественного и т. п.). Часто философский текст, прежде ассоциировавшийся с прорывом к вечным истинам, становится сиюминутным, апеллирующим к современным реалиям, происходит терминологическое опрошение («снижение философской лексики»), смешение стилей и жанров. Проблема состоит в том, стала ли «неограниченная литературизация философии» (К.-О. Апель) «всего лишь» платой за интерес к гуманитарному дискурсу, который «раньше не вызывал ни интереса у серьезных ученых по причине своей “поэтичности”, метафоричности, неинформативности, расплывчатости, ни подозрения у критиков идеологии по причине своей возвышенности и моральности» (Марков Б. В. Знаки бытия. Санкт-Петербург: Наука, 2001. С. 9), или же она отражает глубинные смысловые сдвиги внутри самой философии.

Соблюдение канонов философского текста, никогда не бывших прописанными явно, но от этого не перестававших быть значимыми, позволяло, что называется, с первого взгляда идентифицировать принадлежность текста той или иной традиции философствования. Размыwanie дискурсивных границ

стало происходить буквально на глазах. Причем, этот процесс затронул и отечественную философию последних лет. Эта «текстуальная симптоматика», характеризующая современный философский дискурс, есть, по нашему глубокому убеждению, лишь внешнее отражение тех глубинных подвижек, которые происходят в самосознании философского сообщества («невидимые миру слезы»). Парадоксально, но факт — размывание границ, которое, казалось бы, должно привести к диалогу и пониманию, напротив, приводит к все большему разобшению самих философов. Возмущенное «Это не философия!» звучит с разных сторон и становится своеобразным знаменем нашего времени.

Изменения претерпевают не только каноны построения философского текста, не менее радикально трансформируются способы аргументации, а «хорошим тоном» философской полемики становится не стремление к диалогу в его классической трактовке, а, скорее, к сознательному нагнетанию «напряженного непонимания». В связи с этим вспоминается высказывание Б. Рассела о том, что философия занимает «ничейную землю» между религией и наукой, удачно обозначившее, образно говоря, пространственное расположение философии, отведя ей место в культурном «междумирии». Остается ли эта «пространственная» локализация актуальной сегодня?

Пренебрежение проблемами гуманитарных наук (точнее, смешение фокуса философского интереса под влиянием мощного позитивистского импульса) в XX столетии привело к тому, что в конце века гуманитарные науки, научившиеся во многих случаях обходиться без философской рефлексии по поводу «истины и метода», стали оказывать мощное обратное влияние, «вытесняя» философию из дискурсивного пространства. На фоне впечатляющих успехов в социогуманитарной сфере, возникновения междисципли-

нарных отраслей знания, стремящихся к комплексному изучению интеллекта, познания, языка, и множества принципиально новых методологических программ, подтверждающих свою эвристичность и эффективность, эпистемологические инвективы философии стали казаться безнадежно устаревшими. К тому же, отсутствие значительных, если можно так сказать «конструктивистских» проектов (в постмодернистских терминах), внутри самой философии последнего времени или же более или менее четких контуров «новой метафизики» в постхайдеггерианской философии существенно подорвали ее авторитет и поставили под сомнение сколько-нибудь оптимистичные прогнозы на будущее.

С другой стороны, нельзя не отметить тенденцию к сближению, поиску общего поля интертекстуальности гуманитарных наук и философии, дающую надежду на потенциальную возможность диалога. Другой вопрос, насколько встречаемым является это движение, не приводит ли это к торжеству принципа «anything goes» в философском дискурсе, утрате высокой культуры философствования, свойственной как континентальной, так и англо-американской традициям. Пожалуй, никогда прежде степень сомнения в необходимости и самодостаточности философского осмысления бытия не была столь сильной, а претензии к философии столь откровенно декларируемыми. Именно по этой причине анализ современного философского дискурса является не просто вполне естественным исследовательским посылом, но приобретает совершенно особое значение. Коннотация «перепутья», связанная с выбором (так и хочется с пафосом произнести — судьбоносным...) и определением дальнейших линий развития, добавляет современным философским рассуждениям особый метафорический смысл.

Родившийся в рамках постмодернистского дискурса вопрос «не является ли философия просто особым литературным жанром?», подчас несколько навязчивые аналогии философии и литературы, философского и литературного процесса, возможно, таят для философа некоторые эвристические ходы, позволяющие посмотреть на развитие философской мысли под несколько иным углом зрения. Фактически речь идет об обретении нового понимания развития философских идей последних десятилетий и есть основания надеяться на то, что оно позволит увидеть современную ситуацию с точки зрения некоторой необходимой дистанции, поскольку существовать внутри ситуации и ожидать при этом сколько-нибудь адекватной ее оценки весьма проблематично.

Как нам представляется, существует внутренняя логика сюжетных ходов самой философской мысли. Иначе говоря, само развитие философии можно мыслить не как саморазвертывание некоторой предзаданной логики, идеи в ее гегелевском понимании, а, скорее в терминах развития сюжета. Актуализация тех или иных проблем в философии связана не только с духом времени и вызовами эпохи, но и с теми поворотами сюжетной интриги, которые заданы ее внутренними смысловыми основаниями. Центром или формообразующим началом сюжета становятся нерешенные проблемы, актуализирующиеся в связи с внутренней потребностью к заполнению смысловых лакун. Движущей силой — пружиной — этого процесса, как нам видится, является интерпретация идей тех или иных мыслителей прошлого, в творчестве которых эти лакуны по мере обретения исторической дистанции и определенной необходимой степени отстраненности становятся наиболее очевидными. Иначе говоря, философия той или иной исторической эпохи определяется не только кругом авторов, которые творят собственные оригинальные учения, но и теми «классиками» прошлого, чьи идеи получают свое «второе рождение» в новом дискурсивном пространстве.

Если провести подобную аналогию в отношении философии второй половины XX — начала XXI века, то становится очевидным, что творчество Канта и Ницше стали теми «скрепами», которые соединили сюжеты философской классики и современной философии. Конечно, можно возразить, что специфика философии вообще состоит в постоянной актуализации ее исторического наследия (и в этом смысле она также обнаруживает свое подобие бытию художественного произведения в культуре), а ни одно философское сочинение попросту невозможно без опоры на авторитеты, даже в том случае, если они подвергаются сокрушительной критике, выполняя тем самым роль основания. Это, безусловно, так. Однако всегда существует круг не просто наиболее часто цитируемых, но именно максимально востребованных, *интерпретируемых* авторов, что, по нашему глубокому убеждению, вовсе не является случайным. Исходя из этого, мы попытаемся показать, почему именно творчество Канта и Ницше стало перекрестьем сюжетных линий современной философской мысли. Более того, оказывается, что их «встреча» в новом смысловом контексте современности выявляет также незамеченное и неожиданное смысловое совпадение их идей, а нам, в

свою очередь, открывает возможность необходимой исследовательской дистанции

Список авторов, обращавшихся в XX в. к истолкованию кантовских идей, их интерпретации и переосмыслению, не просто значителен, он показателен тем, что в его философии искали (и продолжают искать) новые импульсы представители экзистенциализма, аналитической философии, герменевтики, структурализма, неопрагматизма и др. (т. е. фактически всех наиболее значительных философских направлений и школ).

Здесь нам хотелось бы сделать небольшое историческое отступление. Европейская философия уже переживала всплеск интереса к кантовской философии. В философской палитре второй половины XIX в. движение «Назад к Канту!» означало восстановление и возрождение основ философской классики, существенно подорванное, с одной стороны, позитивизмом, с другой — иррационализмом. Кризис классического европейского философствования в XIX в. стал крупнейшим последним «кризисом» философии перед нынешним, ознаменовавшим собой переход к неклассическому философствованию. Хотелось особо отметить тот факт, что сам исследовательский посыл — стремление к выявлению *правильной* интерпретации идей Канта в кризисной ситуации — становится фундаментом неокантианства как самостоятельного философского направления. Как показала история, внутренний импульс кантовского учения оказался настолько значительным, что неокантианская интерпретация «Критики чистого разума» и «Критики способности суждения» оказалась недостаточной даже в эпистемологической сфере. Нерешенность некоторых существенных проблем, заданная «невыбранностью» возможного интерпретативного пространства кантовского учения, привела к тому, что рано или поздно возникла настоятельная потребность в дальнейшем развитии сюжета. Нам представляется глубоко неслучайным также и то обстоятельство, что именно в это время философия обращается к анализу проблем гуманитарного познания. Такой «поворот» был инициирован в большей степени самой философской мыслью. Постановка и решение фундаментальных для гуманитарных проблем предмета и метода «наук о духе», ценностей и оценок, смысла и символа в творчестве Г. Риккерта, В. Виндельбанда, Э. Кассирера оказали значительное влияние на развитие гуманитарных наук, их смысловые и методологические основания.

Философия XX в. вновь вернулась к той лакуне в философии Канта, преодоление которой во многом определило, как теперь ста-

новится понятно, динамику ее проблемного поля. Кантовский анализ оснований и принципов научного знания базировался на исходной посылке о том, что абстрагирование от влияния семантики естественных языков на процесс познания является возможным и приводит к адекватным философским выводам. Такой подход подразумевал отношение к языку как некоторому инструменту выражения результатов и выводов, ни в коей мере не влияющему на сущность познания. Этому способствовали, скорее всего, два обстоятельства. Во-первых, это «инструменталистский» подход к пониманию языка, хотя и подрываемый началами иной языковой парадигмы уже в кантовскую эпоху. К тому же, отсутствие разработки проблемы оснований донаучного или вненаучного опыта привело как к постулированию трансцендентального знания, так и к «длинному периоду деструкции трансцендентальной философии субъекта» (Апель К.-О. Бамбергские лекции // Философия без границ. Сборник статей: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Миронова В. В. М.: Издатель Воробьев А. В., 2001. С. 71).

Противоречивость и недостаточность выводов, сделанных на подобных основаниях, не могли не привести к тому, что в XX в. заполнением этих смысловых лакун посткантовской философии занялись представители и аналитического, и неопрагматистского, и герменевтического направлений. Если анализировать отношение к проблеме оснований, то окажется, что все эти направления приходят к выводу о несостоятельности сколько-нибудь конструктивных попыток построения «новой метафизики». Идеи «детрансцендентализирования», языковой и культурной релятивистичности человеческого сознания и познания стали серьезным вызовом существованию даже умозрительной возможности фундаменталистского обоснования философии. Аналитическая традиция дискредитировала метафизику, прагматическая, — стирая границу между эмпирическим и априорным знанием, отвергла идею общезначимости философских идей, герменевтическая — стала апологом историчности человеческого познания, его языковой и культурной зависимости.

В связи с этим в философском дискурсе радикально меняется и представление о реальности, которая собственно «скрывается» за нашими интеллектуальными конструкциями. Одна из фундаментальных подвижек в понимании реальности неразрывным образом связана с пресловутым «лингвистическим поворотом» от сознания к языку, заданным нерешенностью проблем метафизики в кантовской философии.

Анализ языка приводит философов к идее конструирования «возможных миров», ставшей вызовом классическим представлениям о единственной реальности, стоящей за нашими восприятиями, представлениями, когнитивными схемами и концептуальными каркасами. В данном контексте особенно уместно было бы отметить тот факт, что идея «возможных миров», проникнувшая в философский дискурс, отсылает нас также к кантовским идеям (правда, в их кассиреровской интерпретации, как, например, у Н. Гудмена). Осмысление процесса создания возможного интеллектуального мира, полного творческой свободы и интеллектуальной эстетики, вступило в конфликт с апологетикой единственной подлинной реальности философской классики. Языки культур, являя собой «матрицу» восприятия мира, предлагают существенно различные способы видения/описания/понимания мира. Идея приписывать дискурсу способность строить реальное становится живым нервом гуманитарных дискуссий, занимая умы лингвистов, психологов, литературоведов, антропологов, культурологов и, разумеется, философов. Теперь интересным становится «конструирование реальности, прочитанное в значках и символах, книга реальности, пишущаяся вновь и вновь различным образом в языках культур» (Зандкюлер Х. Й. Репрезентация, или Как реальность может быть понята философски // Вопросы философии. 2002. № 9. С. 89).

Отношение между «миром и словом» становится непрозрачным, теряет свою присущую классическим представлениям однозначность. В результате оказывается, что множество различных «описаний мира» в принципе неограниченно. Как справедливо отмечает Х. Фэйрлэмб, «недавние дискуссии по поводу “конца философии” указывают глубину настоящего интереса к проблеме оснований (курсив наш. — Е. И.)... Очевидно, когда мы сталкиваемся с неудачными попытками, скептицизм только возвращается с большей силой» (Fairlamb H. L. Critical Conditions. Postmodernity and the Question of Foundations. Cambridge University Press, Cambridge, 1994. P. 255). Вполне объяснимо, что «дух релятивизма» стал платой за трансформацию представлений о реальности и способах ее репрезентации: «данный мир встречает нас в различных ипостасях, которые мы выбираем (курсив наш. — Е. И.) для данной встречи» (Зандкюлер Х. Й. Репрезентация, или Как реальность может быть понята философски // Вопросы философии. 2002. № 9. С. 88).

Интерес к творчеству Канта, связанный с незавершенностью сюжета, «ген» которого может быть обозначен дилеммой фундамен-

тализм/релятивизм (См. Ищенко Е. Н. Эпистемология XX века: тенденции и перспективы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия 1. Гуманитарные науки. Воронеж: Изд-во ВГУ. 2000. № 2. С. 166—180), отражает поиски новых концептуальных оснований совмещения классических предрассудков относительно фундаменталистской направленности философского освоения мира и «недоверия к метанарративам», принципиальной плюралистичности способов представления реальности, являющихся смысловым центром современного гуманитарного дискурса.

Вторая ключевая фигура интерпретативного поля современности — Ф. Ницше. Осмысление ницшевских идей в XX в. простиралось в основном в рамках двух полярных интерпретаций: от «низвергателя классики» до «последнего классика» европейской философии. Однако именно постмодернизм сумел «прочсть» Ницше в новом контексте, а брошенная Ницше фраза: «неистолкованной реальности не существует», по настоящему «выстрелила» спустя столетие в рамках постмодернистского дискурса. Зачастую исследователи объясняют возникновение постмодернистского проекта исключительно социокультурными факторами. Иначе говоря, само наше жизненное пространство трансформировалось таким образом, что идеи «симулякра», «интертекстуальности», «дессимиляции» и т. п. органичным образом вырастают из самой реальности. Такое объяснение представляется нам несколько односторонним. В самом деле, почему бы не предположить, что для того, чтобы реальность была воспринята и отрефлексирована подобным образом, необходима некоторая внутренняя готовность к такому взгляду, истоки которой лежат все же в интеллектуальной предыстории, предшествовавшей постмодерну.

Ближайшие (наиболее очевидные) истоки постмодернизма следует искать в основаниях структуралистского проекта, а также в тех выводах, которые были сделаны в процессе его реализации. Как отмечает В. Декомб, толкование программы «суперрационализма» структурализма носило двойственный характер: либо как «еще более сильного рационализма», либо «нечто вроде сюрреализма науки». В последнем случае возникает идея «расширения разума», который должен понять все, что предшествует разуму и превосходит его. «Миссия расширенного разума заключается в постижении иррационального, открывающегося нам главным образом в двух видах: в нашей среде — это безумец (который «превосходит разум») и вне нее — дикарь (который «предшествует

разуму»). Отсюда и то преувеличенное внимание к психоанализу (благодаря понятию бессознательного, диагностировавшему неразумие у тех, кто считал себя лишенными разума) и социальной антропологии (изучающей архаичное поведение «первобытных людей»). Если эти науки и могут способствовать пониманию нами иррациональности сновидения, безумия, магии или табу, то разум взрослого западного самца отступает, уступая место *разуму более универсальному* (курсив наш. — Е.И.)» (Декомб В. Современная французская философия: пер. с франц. М.: «Весь мир», 2000. С. 101). В этой двойственности уже крылись возможности новых сюжетных ходов.

Ошущение исчерпанности, расчлененности сознания, общественных структур, литературных сюжетных ходов (все уже было сказано!) привело к предчувствию кризиса и неизбежно к «возрождению» проблемы интерпретации, поскольку вся новизна теперь таится не в построении нового уникального произведения, но в новых интерпретациях, зачастую возникающих при столкновении противонаправленных контекстов и идеологем. Подобно тому, как некогда Фрейд сделал предметом психоаналитического толкования обрывки фраз, сновидения, шутки, постмодернистская мысль, памятуя об исчерпанности генеральных путей (сюжетов, ходов, поворотов), оставляет себе маргиналии — те осколки, черновики реальности, которые не попадали в поле зрения «серьезной философии».

Постмодернизм стремится к радикальной перверсии — проект деконструкции даже не как «карнавализация» (верх и низ меняются местами), но в более радикальном варианте — теперь уже нет низа и верха как таковых, какая либо структурированность с негодованием отвергается. Кроме того, постмодернизм принимает эстафету проблемности не только непосредственно от структурализма и постструктурализма, но и от нерешенности проблем кантовской эпистемологии в том смысле, что продолжает уделять особое, если не сказать главное, внимание анализу донаучных и вненаучных форм освоения и осмысления реальности.

Лозунг структуралистов «Все определяют структуры, а не человек» практически низвел субъекта до некоторой функции господствующих социальных или языковых систем. Структуралистский посыл задал новый сюжет, интрига которого коренится в дилемме *свобода/детерминизм*. Последующие напряженные поиски тех сфер, где все же должна существовать и существует свобода субъекта, привели к выводу о том, что единственной сферой свободы становится поле интертекстуальности.

Смерть автора компенсируется своеобразным рождением читателя. На смену плоской и однозначной фигуре автора-скриптора приходит многоликий читатель — «властный», «компетентный», «идеальный», «подразумеваемый», «виртуальный», «сопротивляющийся».

Постмодернистская литература — стыковка нестыкуемого: разных жанров, стилей, высокого и низкого, классики, газетной заметки, цитаты из справочника и т. п. На этих стыках возникают те смысловые зазоры, которые читателю *volens nolens* приходится заполнять. Происходит деиерархизация смыслового пространства текста. Если прежде в тексте (не обязательно буквально в тексте, но и в любом феномене культуры) выделялось несколько уровней смысла (эта иерархизация досталась европейской культуре в наследство от экзегетики), то теперь при внешней «рваности» и «разнородности» никакого расслаивания смыслового пространства нет и быть не может. Цитации простираются в пространстве от вечного до сиюминутного, как говорится, *to be or not to be — two beer or not two beer*. На место скрупулезной работы с текстом приходит практически психотерапевтический процесс избавления от шока. Читатель фактически восстанавливает целостность в процессе склейки, сшивания рваного дискурса, восстановления целостности. Теперь это его задача и, если угодно, миссия.

В таком случае многообразие способов читательского восстановления целостности и осмысленности текста вполне объяснимо, поскольку процесс чтения/восприятия/интерпретации отражает его собственную картину мира. Упорядочивая текст, читатель в каком-то смысле гармонизирует собственный микрокосм и вселенную интертекстуальности.

Новая ипостась творческой свободы человека связывается теперь уже не с творчеством как созданием нового, прежде неизвестного авторского произведения, но с тем обстоятельством, что отсутствие новизны в создании текста парадоксальным образом освобождает читателя в его интерпретационной активности. Как пишет У. Эко, «если невозможно освободиться от власти масс-медиа, то существует, по крайней мере, возможность свободы интерпретации: возможность прочитать сообщение *по-другому*» (Eco U. *Travels in Hyperreality*. London: Picador, 1987. P. 138).

В свою очередь, свобода читателя вызывает еще одну принципиально новую проблему: возникает проблема апологии автора как пострадавшей в результате интерпретационного «бума» стороны. Так, Э. Хирш выдвигает три аргумента в защиту авторского замысла при интерпретации текста. Самое удивительное,

что эти аргументы опираются на интерпретацию моральной философии Канта (!). Первый аргумент связан с запретом использовать автора как средство, а не как цель (Хирш прямо ссылается на кантовский принцип гуманизма), второй — призывает рассматривать интерпретируемый текст как продолжение личности автора, дабы применить к интерпретации моральный запрет на произвольное обращение с текстом. И, наконец, третий аргумент постулирует утверждение о неуспешности интерпретации, если она базируется на нравственно порочных принципах, которыми руководствуется интерпретатор (Hirsch E. D. Jr. *The Aims of Interpretation*. Chicago: University of Chicago Press, 1976. P. 34—35).

Коренной пересмотр представлений о границах, возможностях и значении интерпретации в структуре человеческой деятельности связан с переходом от интерпретации посредством авторитета к игровой интерпретации. «Интерпретация, так можно было бы сказать, является процессом проявления (Emergenz) и... скорее, перформативным процессом, нежели процессом объяснения... Каждый акт интерпретации является вмешательством в интерпретируемое содержание, которое вследствие этого испытывает некоторую помеху (eine gewisse Störung)» (Интервью с В. Изром // *Вопросы философии*. 2001. № 11. С. 92—93). Из процедуры в определенном смысле «вторичной» интерпретация превращается в самостоятельный феномен человеческого бытия. Более того, значение интерпретации возрастает настолько, что «искусство интерпретации превращается в индустрию» (Bordwell D. *Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. P. 260).

Итак, с одной стороны, свобода интерпретации, с другой — утрата доверия к слову. Игра со словами и интерпретациями вызывает желание обрести основание (противоречие — внутреннее, глубоко скрываемое стремление все же к обретению некоторого фундамента — основания). Постмодернизм ищет этот фундамент в телесности. Творчество множества реальностей приводит к «расползанию», нагромождению миров, которое все же нуждается в согласовании. Переход от «Слова к Телу» отразил этот исследовательский посыл: исток подлинности реальности обнаруживается в телесности, которая при этом упорядочивает дискурс.

Итак, постмодернизм, впадая в «скрытый фундаментализм», вызывает необходимость в формулировании более точной позиции, нежели просто свободное собрание самых

различных позиций от конвенционализма Фиша, неопрагматизма Рорти до текстуализма Деррида. «Постмодернистский локализм неспособен к преодолению своего отрицания модернизма до такой степени, что это мешает ему раскрыть *невозможность фундаменталистской редукции* (курсив наш. — Е. И.). Как ни странно, несмотря на его ницшеанское происхождение, постмодернизм переносит теоретический *ressentiment*, в то время как нуждается в большей степени в теории» (Fairlamb H. L. *Critical Conditions. Postmodernity and the Question of Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 257).

Можно ли было «просчитать» заранее или нет, но, так или иначе, «параллельные сюжеты», связанные с преодолением дилемм фундаментализм/релятивизм и свобода/детерминизм, «закольцевались» к началу нашего столетия. «Постмодернистская мысль рассматривает фундаментализм и антифундаментализм как отрицание творческих способностей человека первым и как возможность бесконечного разнообразия и творчества с точки зрения второго» (Дерри Д. *Фундаментализм и антифундаментализм // Вопросы философии*. 2002, № 6. С. 90). Подобные аналогии фундаментализма как регрессивного и репрессивного начала, с одной стороны, и релятивизма как освобождающего плюрализма действительно уже успели за довольно короткий срок стать устойчивыми стереотипами (или новыми предрассудками) самосознания современного философского сообщества. Такие аналогии оказались возможными в результате неотрефлексированности внутренних проблем, связанных с переходом к новой парадигме философского знания. Фактически навязывание такой точки зрения, при которой «выбор за или против философии связан с выбором между литературным критиком и платоновским правителем-философом, между социальным нигилизмом и универсалистским предписанием для рационального общества» (Fairlamb H. L. *Critical Conditions. Postmodernity and the Question of Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 255), является совершенно ложным. Но вполне понятна острота дискуссий, ведь за ними скрывается, по сути, реальный выбор философией дальнейшего пути, обозначение новых горизонтов и пространств, которые предстоит освоить.

Опыт побед и поражений, подчас трудно делимых друг от друга, дает современной философии шанс обрести утраченное, а всем, принадлежащим к философскому цеху, — надежду на новые роли в пьесе с неожиданными и от того более увлекательными поворотами сюжета...